



НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ  
**КАРАМЗИН**





НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ  
**КАРАМЗИН**



Письма  
русского путешественника



Издательство АСТ  
Москва

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
К 22

Все права защищены.  
Любое использование материала данной книги,  
полностью или частично, без разрешения  
правообладателя запрещается.

**Карамзин, Николай Михайлович.**

К 22 Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин — Москва : Издательство АСТ, 2018. 576 с. — (Русская классика).

ISBN 978-5-17-109349-5

В 1789–1790 гг. Н.М. Карамзин посетил Европу. В результате этой поездки появились знаменитые «Письма русского путешественника», публикация которых сделала Карамзина известным литератором. В письмах живая разговорная речь превращает жизнь «наций Европы, их нравы, их обычаи и те мельчайшие черты характера, которые складываются под влиянием климата, степени цивилизации и, главное, государственного устройства» в увлекательные путевые заметки.

**УДК 821.161.1-3**  
**ББК 84(2Рос=Рус)1-44**

## ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Я хотел при новом издании многое переменить в сих «Письмах», и... не переменял почти ничего. Как они были писаны, как удостоились лестного благоволения публики, пусть так и остаются. Пестрота, неровность в слоге есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного русского путешественника: он сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал, — и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашом. Много неважного, мелочи — соглашаюсь; но если в Ричардсоновых, Фильдинговых романах без скуки читаем мы, например, что Грандисон всякий день пил два раза чай с любезною мисс Бирон; что Том Джонс спал ровно семь часов в таком-то сельском трактире, то для чего же и путешественнику не простить некоторых бездельных подробностей? Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкою за плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какого-нибудь придворного, окруженного такими же придворными, или профессора в шпанском парике, сидящего на больших, ученых креслах. — А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих «Писем», советую читать Бишингову «Географию».



# Часть первая

## 1

*Тверь, 18 мая 1789*

Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами, а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться!

О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли просыпался всякое утро? Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? Но — когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего. На что ни смотрел — на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелые мысли и чувства мои, на окно, под которым сиживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии и где так часто заставало меня восходящее солнце, на готический дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные, — одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но зато мыслями и чувствами обильной. С вещами бездушными прощался я, как с друзьями; и в самое то время, как был размягчен, растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я не забыл их

и взял опять к себе, когда возвращаюсь. Слезы заразительны, мои милые, а особливо в таком случае.

Но вы мне всегда любезнее, и с вами надлежало расстаться. Сердце мое так много чувствовало, что я говорить забывал. Но что вам сказывать! — Минута, в которую мы прощались, была такова, что тысячи приятных минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.

Милый Птрв. провожал меня до заставы. Там обнялись мы с ним, и еще в первый раз видел я слезы его; там сел я в кибитку, взглянул на Москву, где оставалось для меня столько любезного, и сказал: *прости!* Колокольчик зазвенел, лошади помчались... и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей!

Все прошедшее есть сон и тень: ах! где, где часы, в которые так хорошо бывало сердцу моему среди вас, милые? — Если бы человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее, то замерло бы сердце его от ужаса и язык его онемел бы в самую ту минуту, в которую он думал назвать себя счастливейшим из смертных!..

Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я в деревенском трактире, стоя перед карикатурами королевы французской и римского императора, хотел бы, как говорит Шекспир, *выплакать сердце свое*. Там-то все оставленное мною явилось мне в таком трогательном виде. — Но полно, полно! Мне опять становится чрезмерно грустно. — Простите! Дай бог вам утешений. — Помните друга, но без всякого горестного чувства!

## 2

*С.-Петербург, 26 мая 1789*

Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час поеду в Ригу.

В Петербурге я не веселился. Приехав к своему Д, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любез-

ный человек<sup>1</sup> открыл мне свое сердце: оно чувствительно — он несчастлив!.. «Состояние мое совсем твоему противоположно, — сказал он со вздохом, — главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание». Я не смел утешать его и довольствовался одним сердечным участием в его горести. «Но не думай, мой друг, — сказал я ему, — чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаясь другого и жаляю». — Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал. До обеда бывал я на бирже, чтобы видеться с знакомым своим англичанином, через которого надлежало мне получить векселя. Там, смотря на корабли, я вздумал было ехать водою, в Данциг, в Штетин или в Любек, чтобы скорее быть в Германии. Англичанин мне то же советовал и сыскал капитана, который через несколько дней хотел плыть в Штетин. Дело, казалось, было с концом; однако ж вышло не так. Надлежало объявить мой паспорт в адмиралтействе; но там не хотели надписать его, потому что он дан из московского, а не из петербургского губернского правления и что в нем не сказано, как я поеду; то есть, не сказано, что поеду морем. Возражения мои не имели успеха — я не знал порядка, и мне оставалось ехать сухим путем или взять другой паспорт в Петербурге. Я решился на первое; взял подорожную — и лошади готовы. Итак, простите, любезные друзья! Когда-то будет мне веселее! А до сей минуты все грустно. Простите!

---

<sup>1</sup> Его уже нет в здешнем свете.

## 3

*Рига, 31 мая 1789*

Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу и остановился в «Hôtel de Pétersbourg»<sup>1</sup>. Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна: надлежало еще идти сильным дождям; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга *на перекладных* и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня лишнее; на каждой перемене держали слишком долго. Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось: кибитка упала и грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: пришел какой-то полицейский и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. «Спрячь её в карман!» — сказал я с притворным равнодушием и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей. О, если бы мне можно было тогда перенестись к вам, друзья мои! Внутренне проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как скоро первые уже не новы, — которое настроивает к мечтам наше воображение и заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего!

Есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается или, поднявшись высоко, опять вниз упадает — и в самый тот миг, как сердце мое стало полно,

---

<sup>1</sup> Петербургская гостиница (*франц.*).

явился хорошо одетый мальчик, лет тринадцати, и с милою, сердечною улыбкою сказал мне по-немецки: «У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам — вот наш дом — батюшка и матушка приказали вас просить к себе». — «Благодарю вас, государь мой! Только мне нельзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному и весь мокр». — «К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, сударь, пожалуйста!» Тут улыбнулся он так убедительно, что я должен был стряхнуть воду с шляпы своей — разумеется, для того, чтобы с ним идти. Мы взялись за руки и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе. Меня приняли так ласково, потчевали так сердечно, что я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии. Молодой человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии, сказывал мне, как удобнее ехать из Риги в Кенигсберг. Я пробыл у них около часа. Между тем привезли ось, и все было готово. «Нет, еще постоит!» — сказали мне, и хозяйка принесла на блюде три хлеба. «Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его». — «Бог с вами! — примолвил хозяин, пожав мою руку, — бог с вами!» Я сквозь слезы благодарил его и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями. — Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого и столь редкая во дни наши! Если я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду на земле странником и нигде не найду второго Крамера!<sup>1</sup> Простился со всею любезною семьей, сел

---

<sup>1</sup> Один из моих приятелей, будучи в Нарве, читал Крамеру сие письмо — он был доволен — я еще больше!

в кибитку и поскакал, обрадованный находкой добрых людей! —

Почта от Нарвы до Риги называется немецкою, для того что комиссары на станциях немцы. Почтовые дома везде одинакие — низенькие, деревянные, разделенные на две половины: одна для проезжих, а в другой живет сам комиссар, у которого можно найти все нужное для утоления голода и жажды. Станции маленькие; есть по двенадцати и десяти верст. Вместо ямщиков ездят отставные солдаты, из которых иные помнят Миниха; рассказывая сказки, забывают они погонять лошадей, и для того приехал я сюда из Петербурга не прежде, как в пятый день. На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: Г. З., едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного человека. Он настрашал меня песчаными прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу и Вену; однако ж мне не хочется переменить своего плана. Пожелав ему счастливого пути, бросился я на постелю; но не мог заснуть до самого того времени, как чухонец пришел мне сказать, что кибитка для меня впряжена.

Я не приметил никакой розницы между эстляндцами и лифляндцами, кроме языка и кафтанов: одни носят черные, а другие серые. Языки их сходны; имеют в себе мало собственного, много немецких и даже несколько славянских слов. Я заметил, что они все немецкие слова смягчают в произношении: из чего можно заключить, что слух их нежен; но видя их непроворство, неловкость и недогадливость, всякий должен думать, что они, просто сказать, глуповаты. Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леность и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и мужик в Лифляндии или в Эстляндии приносит господину вчетверо более нашего казанского или симбирского.

Сии бедные люди, *работающие господам со страхом и трепетом* во все будничные дни, зато уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма немного по их календарю.

Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом — праздновали троицу.

Мужики и господа лютеранского исповедания. Церкви их подобны нашим, кроме того, что наверху стоит не крест, а петух, который должен напоминать о падении апостола Петра. Проповеди говорятся на их языке; однако ж пасторы все знают по-немецки.

Что принадлежит до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин. — Напрасно будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном месте видишь два двора, в другом три, четыре и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно на две половины: в одной живут люди, а другая служит хлевом. — Те, которые едут не на почтовых, должны останавливаться в корчмах. Впрочем, я почти совсем не видал проезжих: так пуста эта дорога в нынешнее время.

О городах говорить много нечего, потому что я в них не останавливался. В Ямбурге, маленьком городке, известном по своим суконным фабрикам, есть изрядное каменное строение. Немецкая часть Нарвы, или, собственно, так называемая Нарва, состоит по большей части из каменных домов; другая, отделяемая рекою, называется Иван-город. В первой всё на немецкую статью, а в другой всё на русскую. Тут была прежде наша граница — о, Петр, Петр!

Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось. Мужчины и женщины ходили по городу обнявшись, и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы. *Что город, то норов; что деревня, то обычай.* — Здесь-то живет брат не-

счастливого Л<sup>1</sup>. Он главный пастор, всеми любим и доход имеет очень хороший. Помнит ли он брата? Я говорил об нем с одним лифляндским дворянином, любезным, пылким человеком. «Ах, государь мой! — сказал он мне, — самое то, что одного прославляет и счастливит, делает другого злополучным. Кто, читая поэму шестнадцатилетнего Л и все то, что он писал до двадцати пяти лет, не увидит *утренней зари великого духа*? Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но тучи помрачили эту прекрасную зарю, и солнце никогда не воссияло. *Глубокая* чувствительность, без которой Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиром, погубила его. Другие обстоятельства, и Л бессмертен!» —

Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это торговый город, — много лавок, много народа — река покрыта кораблями и судами разных наций — биржа полна. Везде слышишь немецкий язык — где-где русский, — и везде требуют не рублей, а талеров. Город не очень красив; улицы узки — но много каменного строения, и есть хорошие дома.

В трактире, где я остановился, хозяин очень услужлив: сам носил паспорт мой в правление и в благочиние и сыскал мне извозчика, который за тринадцать червонцев нанялся довести меня до Кенигсберга, вместе с одним французским купцом, который нанял у него в свою коляску четырех лошадей; а я поеду в кибитке. — Илью отправлю отсюда прямо в Москву.

Милые друзья! Всегда, всегда о вас думаю, когда могу думать. Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался.

---

<sup>1</sup> Ленца, немецкого автора, который несколько времени жил со мною в одном доме. Глубокая меланхолия, следствие многих несчастий, свела его с ума; но в самом сумасшествии он удивлял нас иногда своими пиитическими идеями, а всего чаще трогал добродушием и терпением.

## 4

*Курляндская корчма, 1 июня 1789*

Еще не успел я окончить письма к вам, любезнейшие друзья, как лошади были впряжены и трактирщик пришел сказать мне, что через полчаса запрут городские ворота. Надобно было дописать письмо, расплатиться, укласть чемодан и приказать кое-что Илье. Хозяин воспользовался моим недосугом и подал мне самый аптекарский счет; то есть за одне сутки он взял с меня около девяти рублей!

Удивляюсь еще, как я в таких торопях ничего не забыл в трактире. Наконец все было готово, и мы выехали из ворот. Тут простился я с добродушным Ильею — он к вам поехал, милые! — Начало смеркаться. Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном молодого путешественника и не чувствовал, как прошла ночь. Восходящее солнце разбудило меня лучами своими; мы приближались к заставе, маленькому домику с рогаткою. Парижский купец пошел со мною к майору, который принял меня учтиво и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию — и мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! «Вот первый иностранный город», — думал я, и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец герцога курляндского, не малый дом, впрочем, по своей наружности весьма не великолепный. Стекла почти везде выбиты или вынуты; и видно, что внутри комнат переделывают. Герцог живет в летнем замке, недалеко от Митавы. Берег реки покрыт лесом, которым сам герцог